

Ален Турен<sup>1</sup>

## СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ<sup>2</sup>

Я осознаю ту большую ответственность, которую беру на себя, предлагая вам анализ основных тенденций развития наших обществ. Я делаю это в надежде, что знание и анализ этих тенденций подготовят почву для некоторого вмешательства в них.

Я согласен со старейшим определением социальных наук как «политических наук». Однако – и это будет отправной точкой моего анализа – мы должны осознать, что живем в ситуации, никоим образом не сопоставимой с тем временем, когда экономические факторы приводили сначала к возникновению социальных конфликтов, а затем к появлению механизмов их институционализации и правового или договорного закрепления. То, что эта социал-демократическая модель больше не соответствует реальности, осознают даже те, кто поддерживал ее и надеялся на ее возрождение в какой-либо иной форме. Чтобы понять эти тенденции, нужно сначала обрисовать ситуацию, о которой идет речь, и посмотреть, как ее можно определить.

Изложим ее в схематической форме. Предположим, сейчас 1894 год, когда власть по своей природе была экономической и сосредоточивалась в лондонском Сити. Наряду с экономической властью существовали различные политические и идеологические силы и движения: классовое, национально-освободительное и зарождавшееся женское. Некоторые движения выступали против господства капитализма с интеллектуальных или культурных позиций. Сейчас ситуация для революционных движений и движений протеста, имевших широкое распространение в начале XX века, в целом изменилась. Везде, или почти везде, на смену власти денег пришла власть государства. Сложились самые различные (удачные или неудачные) формы государства, которые можно определить как волюнтаристские или мобилизованные (*mobilizing*). В европейских и других странах наступил длительный период социал-демократического правления, принявшего наиболее сложные формы в скандинавских странах. Немного позже на значительных территориях установились коммунистические режимы. Где-то контроль захватили антиколониальные или постколониальные националистические государства, а в Латинской Америке и некоторых других регионах появились «национал-популистские» режимы. К этому следует добавить еще два, очень разных, действительно противоположных, но играющих одинаково важную роль типа: авторитарные традиционалистские государства, которые относительно долгое время существовали в Средиземной Европе, особенно Испании, Португалии и Греции, и несколько лет во Франции, и фашистские или империалистические (как Япония) государства, столь драматично определявшие мировую историю в 1930 – 1940-х годах.

Начиная с 1960-1970-х годов мы вступили в фазу, характеризующуюся главным образом сокращением числа таких волюнтаристских и мобилизованных государств. Столетие назад власти капитала был брошен вызов, политические и социальные силы были на подъеме, сегодня ситуация противоположная. Отсюда следует – и это будет определять многие наши выводы – что, если столетие назад историческая арена была занята

---

<sup>1</sup> Ален Турен – известный французский социолог, профессор университета в Нантерре, декан отделения исследовательских программ Высшей школы социальных наук в Париже, советник комитета программ демократизации процессов при ЮНЕСКО. Он автор более тридцати книг, посвященных проблемам социально-экономического развития общества, методологии социального познания. Среди них: «*Sociologie de l'action*» (1965); «*La société postindustrielle*» (1969); «*Production de la société*» (1973); «*Pour la sociologie*» (1974); «*Pourrions-nous vivre ensemble? Egaux et différents*» (1997). Турен – активный сторонник акционистского подхода, с позиций которого написаны все его работы.

<sup>2</sup> Alain Touraine. *Social transformations of the twentieth century* // *International Social Science journal*. 1998. June №156 p.165–171.

© Центр Фундаментальной социологии, 2002.

© Фомина В., 2002.

идеологическими и интеллектуальными действующими лицами (актерами), то сегодня они слабеют. Силы, приведшие к ослаблению господства мобилизованных и волонтаристских государств, были по сути экономическими. По этой причине во всем мире доминировала ортодоксальная политика либерального регулирования в разных формах. Некоторые социал-демократические режимы по-прежнему все еще преуспевают именно благодаря своей поддержке либеральной политики, проводимой, например, в Австралии, Испании или Франции. Даже в так называемых коммунистических странах наблюдаются крайние формы гиперортодоксальной либеральной политики. Я имею в виду Китай, Вьетнам и Кубу.

В других странах период капитализма не был столь продолжительным, но везде, от Восточной Европы до Латинской Америки, произошел великий поворот истории. Его формы либо умеренны, либо экстремальны. Сейчас мы являемся свидетелями конца модернизированного общества. Спешу добавить, это не означает, что мир объединился и находится на пути к единой модели, обозначившей конец истории, модели, основанной на соединении рыночной экономики, либеральной демократии, культурной терпимости и секуляризации. Такой взгляд на мир был представлен год или два назад несколькими обозревателями. Современное положение характеризуют две идеи. Первая, по моему мнению, фундаментальная, состоит в том, что волна либерализма, стоявшего во главе ниспровержения мобилизованного общества, не принесла новую модель общества. Это лишь определенный этап, но это не модель, ибо либеральной модели общества не существует. Контроль, осуществляемый миром политики через экономику, по политическим или идеологическим причинам, в интересах влиятельного лобби или номенклатуры разрушен. Учитывая сегодняшний опыт важно отметить, что избежать участия в этом всемирном процессе почти невозможно. Несколько стран, пытавшихся остаться в стороне от него, столкнулись с величайшими трудностями. Социальная стоимость такого отказа или отсрочки несметна. Итак, даже если бы мы выступили против такой линии развития и стремились бы к чему-либо иному, это все равно бы случилось. Не стоит больше размышлять о целесообразности скачка в либерализм: он везде уже произошел.

Сейчас вопрос заключается в том, как осуществляется социальный контроль над экономической деятельностью. Суть первого наблюдения, которое я должен отметить, прежде чем попытаться решить этот вопрос, состоит в том, что мы являемся свидетелями некоего процесса пролетаризации, происходящего на глобальном уровне. Я имею в виду уничтожение или «разрушение» политического, идеологического и правового контроля, в результате чего весь мир оказался разделенным надвое или стал «двойным», как латиноамериканский мир. В каждом индивиде, каждом городе, каждой стране, на глобальном уровне мы видим разделение на деятельность, которая является частью мировой системы обмена, и маргинализированную или «неформальную» деятельность. В каждом из нас есть некая часть, которая участвует в играх инструментального и технологического порядка, и другая часть, которая закрыта или спрятана для всего того, что подавляется этим миром инструментальной рациональности, включая культурные корни, личную идентичность, сексуальность и фантазию.

Мне кажется, что мы находимся на пороге всеобщей гражданской войны. Не войны Двух Больших Противоположностей или двух лагерей, а гражданской войны. Это означает, что мировая система сейчас разделена и обращена против самой себя. Попытаюсь обрисовать основные направления изменений, которые мы испытываем. Я выделяю три основных аспекта, или три основные линии размышлений.

Первый. Всеохватывающая природа феномена является результатом быстрого разрушения системы контроля над экономической деятельностью (то есть политической, социальной, правовой и культурной систем). Собственно говоря, все институты разрушаются по отдельности. Второй. Вследствие разделенности систем контроля, мы сейчас наблюдаем триумф того, что называется индивидуализмом, в самых различных и противоречивых формах его проявления. Идея, рассматривающая граждан как индивидов, независимо от традиционных социальных и культурных групп, к которым они принадлежат, характерна для

социальных теорий среднего и высшего уровня в странах, испытавших влияние философии Просвещения; но сейчас граждане превратились в потребителей, и такая точка зрения распространена во всем мире. Что касается третьего аспекта, то в мире без институтов, мире одновременно с глобальным и индивидуалистским мировоззрением, упомянутые выше трещины и разрывы будут увеличиваться.

Заметим, что описанные три линии размышления имеют нечто фундаментально общее. Речь идет о культурных, а не социальных изменениях, и я думаю, что в этом заключено основное отличие ситуаций конца девятнадцатого и конца двадцатого столетий. В конце девятнадцатого века акторы, протесты, проблемы и их решения носили социальный характер. Это были проблемы, связанные с работой, производством, производственными отношениями, социальными классами, социальными правами, правом на труд и т.д. Сегодняшние проблемы больше касаются целей коллективной деятельности, чем ее средств, и потому затрагивают вопросы культуры и личности. Если в прошлом столетии наши усилия по изменению мира были направлены главным образом на природу, то действия наших новых властей влияют большей частью на человека, и хотя человек, как заметил Декарт, должен быть преобразователем или хозяином природы, однако сейчас мы воздействуем на культуру, личность, индивидуальность, тело и разум человеческих существ и влияем тем самым на ценности и нормы, а не только на технику и оборудование.

Мне хотелось бы вернуться к тем трем аспектам, которые я только что выделил и которые, кажутся мне очень важными. Первый из них связан с ослаблением социального и политического контроля. Мы достигли конца дороги, с которой начиналось представление об обществе как процессе социального воспроизводства или механизме социального контроля. Сейчас мы живем в обществах производства или трансформации, действительно вечно изменяющихся обществах, которые никогда не стабилизируются в институционализированном социальном порядке. Это ведет к распространению явления, определенного в конце XIX века одним из основателей социологии как аномия, явления, разрушившего нормативную систему и вызвавшего у индивидов ощущение потери почвы, потому что они больше не контролировались этими внутренними нормами. Мы находимся в мире мобильности, миграции и изменяющихся образцов потребления. Власть рынка вызывает различные реакции, которые можно и нужно оценить самыми разными способами. Эти реакции не унифицированы, но они вызывают постоянные колебания между призывом к прогрессу и призывом к традиции. Если быть более точным, то мы создали в таких странах, как Нидерланды, Великобритания, Франция и США, странах, которые изобрели современные формы демократии, замечательный и, вероятно, исключительный, во всяком случае, универсальный, баланс между традицией и прогрессом на локальном и глобальном уровнях, который сохраняется довольно долго. Каждая из больших европейских стран состояла из меньших стран или местных сообществ. Эти страны были многокультурные, мультиэтнические и разнородные. Помните ли вы (возьмем экстремальный пример), что когда Италия объединялась, только 2,5% ее населения говорили на итальянском языке? Или что во времена Французской революции более половины населения Франции не говорило на французском языке? В новых странах, подобных США, такие ситуации неизвестны. Могу добавить, что различия между разными частями Германии, Англии, Франции, Италии, Испании были так велики, что коммуникации между этими частями были ослаблены и затруднительны. Однако именно в этот период происходило формирование национальных абсолютных монархий, становление бюрократии, современных государств, системы образования, рационализации идей и институтов и обобщенной модели образования (*Bildung*), нанесшей основной удар греческой *paideia*. Когда мы рассматриваем понятие нации, то находим в нем идеи Гердера и Ренана, что означает соединение фольклорных традиций и просвещения, коллективной идентичности и ссылок на разум и демократию.

Сейчас этот политический баланс между прогрессом и традицией, между бытием и поведением, между ожиданиями и достижениями нарушен. Мы находимся в обществе достижений, но мы также являемся свидетелями возвращения к ожиданиям, к национальной,

этнической, религиозной, местной, сексуальной и семейной идентичности. Итак, можно сказать, налицо разъединение тела и ума, памяти и рассудительности. Я повторяю: то, что привыкли называть современностью, гуманизмом или демократией, отличается интеграцией, а не победой одного элемента над другим. Сегодня раскол проходит между теми, кто живет в мире изменений и рынка, и теми, кто живет в мире восстановленной идентичности индивидуальной и коллективной культуры.

Это привело меня ко второму аспекту. Я говорю об индивидуализме и буду определять его в терминах, сходных с теми, которые только что использовал. Современный мир пришел к такому состоянию, когда стало ясно, что индивид и общество не соответствуют друг другу. Как мы знаем, на этом настаивали два мыслителя – Ницше и Фрейд. В отличие от представителей классического периода, именно они утверждали, что индивид не является существом, в котором чувства управляются разумом, существом, действующим таким же образом как Бог, создававший мир. Наоборот, это конфликт между Es и Überich, Эго и Суперэго, на этом базируется драма человеческого существования. Я ссылаюсь на Эго, это слово первым использовал Ницше, у которого его заимствовал Фрейд. Мир Эроса, либидо и мир рациональной организации, принцип удовольствия и принцип реальности антагонистичны, и человеческое бытие, как индивидуальное, так и коллективное, плохо управляется этим антагонизмом. Такая точка зрения довольно далека от греческой или классической концепции индивида, согласно которой общество, индивид и мир жили в гармонии как различные проявления разума.

В результате мы видим рождение того, что Бенжамен Констант в 1819 году назвал демократией Современности, как противоположности демократии античной, греческой или римской (и демократии Французской революции), основывающейся на гражданском сознании населения. Никто из нас сегодня не определяет демократию как права граждан, мы все определяем демократию разными способами как государственное уважение гражданских прав. Таким образом я намереваюсь покончить с давними дебатами по поводу содержания понятий «позитивная свобода» и «негативная свобода», в которых, я должен признать, британская школа мышления, от Берлина до Поппера, добилась успеха. Другими словами, больше всего мы хотим жить при таком режиме, когда нельзя придти к власти или остаться во власти без желания большинства. Или буквально, демократия это то, что британская школа называет негативной свободой, свободой, которая предотвращает анти-свободу, которая удерживает авторитарный режим от прихода во власть или от дальнейшего пребывания в ней. Мы живем в мире, где не достаточно призвать, как это делалось в прошлом, к духу примирения, участия в народном режиме. Мне тяжело признать, но место для термина подобной «народной демократии» трудно найти.

Третий аспект, который мне бы хотелось осветить более ярко, состоит в том, что триумф индивидуальности на самом деле является отличительной чертой культуры нашего времени и новым предметом разногласий в обществе. Индивидуализация действительно спорный вопрос. Несколько лет назад философ Жан-Франсуа Лиотар говорил о конце великой исторической эпохи, истории либерализма, социализма и других историй. Я думаю, что Лиотар был прав наполовину, хотя воистину мы являемся свидетелями конца великой истории (narratives), которую заменило признание жизни индивида как истории, и здесь я согласен с взглядами известных ученых, особенно Алистера МакИнтайра и Поля Рикера. Все мы стараемся, индивидуально или коллективно, сделать наши жизни историей, придать им смысл. Мы пытаемся найти в каждом действии смысл относительно создания общего значения индивидуальной жизни. Все проявляют интерес к индивидуализации. Вектор наших усилий в каждом случае больше не направлен на превосходство разума, развитие чувства истории или исполнение божественной Воли, даже если кто-то и придерживается такого определения ценностей в партикулярном обществе. Сегодня все наши усилия подчинены целям обеспечения индивидам и общине свободы в создании смысла их существования.

Однако именно в этом пункте возникают основные конфликты. Современные конфликты не зависят от собственности на средства производства, они зависят от присвоения индивидуализации. Некоторые думают, что быть индивидом означает быть свободным от подавления идентичностью партикулярных групп и иметь возможность наслаждаться преимуществами массового потребления и коммуникации. Для них рост индивидуализации является ответом на требования и потребности, представленные на рынке или даже вне рынка. Другие думают, что индивид и община могут избежать идентификации со стороны внешних факторов благодаря рынку или собственнику рынка и могут строить свой собственный индивидуальный опыт, сочетая, как я уже говорил, память и рассудительность, коллективную идентичность с развитием индивидуальных ожиданий. Нация или сообщество больше не принимают решения и не приводят в движение процессы индустриализации. В настоящее время это делает индивид, и мы стремимся к таким формам общественной жизни, которые позволяют ему, насколько возможно, проявить свою способность к утверждению себя как субъекта. Здесь я должен упомянуть формулировку, данную Джоном Ролсом в его последней книге «Политический либерализм», настолько простую, насколько и важную. По его словам, то, что мы называем демократией, просто позволяет людям с различной верой и убеждениями жить вместе по одинаковым законам. Это означает, что закон большинства дает возможность уважать мнение меньшинства; утверждение идентичности сосуществует с признанием другого. Это больше, чем толерантность, это знаменитая «политика признания» Чарлза Тейлора.

Сказанное дает основание признать, что демократия не является «властью для народа». Она ставит, как сказал Клод Лефорт, вопрос не о нахождении отдельных персон на троне, а об уничтожении самого трона, его упразднении и по возможности наиболее широком распространении управления различиями. Наш образ демократии – антиякобинский. Это означает признание другого, признание существования различий в обществе в отношении и к законам, и к культурным ориентациям: вот определение того, что мы искали.

Это не только вопрос процедуры, даже а благородном смысле данного слова. Я буду счастлив назвать его, вслед за Марселем Моссом, переструктурированием мира. Долгое время, особенно в Европе, современность требовала *tabula rasa* революции и уничтожения прошлого. Прочь прошлое! Ты создаешь новое с помощью нового. Такова традиционная идея развития. Сейчас мы пришли к пониманию того, что современность состоит не из забвения прошлого, а из внедрения, насколько это возможно, прошлого в будущее. В Европе в период расцвета индустриальной революции, как раз тогда, когда Ватт создавал свою паровую машину, проводились крупные археологические раскопки. И именно после Французской революции, когда вся Европа вступала в эпоху политического модернизма, впервые были реконструированы вызывающие восхищение готические соборы. Верным знаком того, что наши страны, вступившие в эру модернизма, проявили интерес к прошлому, является создание в современном и обновленном Париже за последние двадцать лет серии крупных музеев.

Музей – один из наиболее современных институтов, (например такой музей, который построил мистер Де Меснил в Техасе), поскольку это то место, где сосредоточено множество культур, которые мы не в состоянии понять глубоко, поскольку не обладаем достаточными знаниями об Океании, атцехах, средневековом искусстве, о древней Греции или китайском и индонезийском искусстве того или иного периода. В то же время мы чувствуем, что вхождение в другую культуру очень важно. Мы признаем, что все культуры прилагают усилия к сочетанию рациональности и идентичности или, как заметил Огюст Конт, порядка и прогресса.

На этом замечании я хотел бы остановиться. Я думаю, что мы больше не придерживаемся историцистской или эволюционистской точки зрения, которая преобладала в конце девятнадцатого века. Сейчас мы ищем почти то же самое, о чем мечтали в восемнадцатом веке в кантовское время: вновь обрести смысл мира, смысл единства мира, который не должен быть разделен. Я верю, что мы ощущаем более глубокое и

фундаментальное разделение мира, чем было известно девятнадцативековой Европе. Поэтому мы стараемся соединить то, что было отделено и утеряно в ходе борьбы.

Несколько лет назад чилийские социологи, готовясь к плебисциту по жизненно важному для их страны вопросу, провели исследование и пришли к такому выводу: люди хотят примирения, что означает реконструкцию чувства гражданства, которое ослабляет социальную, культурную и политическую дистанцированность и рождает ощущение принадлежности к одному миру, ответственности за мир. Об этом же сегодня говорят экологи. Многие социальные группы (и женщины более настойчиво, чем мужчины) считают, что равенство предполагает признание различий и идентичности.

Таковы наши проблемы – ломка институциональных, социальных и культурных границ, либерализация удовольствия, счастья и индивидуализма. В тоже время мы видим возрастающее число конфликтов на глобальном, национальном, местном и индивидуальном уровнях, между противоречивыми интерпретациями понятия индивидуализации. Вот почему эти проблемы носят скорее культурный, чем социальный характер. И здесь все мы рассчитываем как на наши совместные обсуждения, так и на действия ЮНЕСКО, направленные на достижение настоятельно необходимого прогресса в решении данного вопроса.

*Перевод с английского В.Н. Фоминой*